

Встречи на жизненном пути
Николай Алексеевич Некрасов

Это было в Риме, в половине пятидесятих годов¹. На Монте-Пинчио, залитом декабрьским солнцем, прогуливалось двое русских. Один был среднего роста, худощав, с жидкою остrokонечною темною бородкою на болезненно-желтом лице, с карими, не без лукавства, глазами. На ходу он подавался несколько вперед, особенно подавалась сухая шея, а голова откидывалась назад и чуть-чуть покачивалась. Другой, гораздо выше, плотный, с крупным носом на толстом лице крошечными светлыми глазками и такими же усиками, держался прямо и выступал твердою военного поступью. На нем было серое офицерское пальто (первой реформы нового царствования²), с клапаном позади, только без металлических пуговиц. Первый мне был знаком по Петербургу, второго я в первый раз видел.

Они поравнялись с моею скамьею.

- Да это Ковалевский!-- проговорил сиплым голосом знакомый.

- Здравствуйте, Николай Алексеевич.

- Здравствуйте, отец! Вот где встретились! Хорошо у вас тут!.. А его знаете?

И Некрасов указал на незнакомого.

- Не имею удовольствия...

- Ну, так имейте: это Фет, Афанасий Афанасьевич, а по нашему Фетушка. Любите и жалуйте³.

Кого угодно, только не автора изящнейших и воздушных стихов, ожидал я увидеть в таком воплощении!

С этих пор началось мое знакомство с Фетом и закрепилось с Некрасовым.

Остановился Некрасов в одном из первых отелей на Испанской площади, где я и навел на него на другой же день. Встретила меня нарядная и эффектная брюнетка⁴, тоже известная мне по Петербургу,-- его самого не было дома... Эта неожиданная встреча, этот отель и эта красивая женщина вызвали невольно из памяти первую мою встречу Некрасова на Невском проспекте, дрогнувшего в глубокую осень в легком пальто и непадежных сапогах, помнится, даже в соломенной шляпе с толкучего рынка... То был и не совсем еще Некрасов, а только Перепельский, переделыватель водевилей с французского, которого он не знал, или Н. Н. - автор "статеек в стихах, без картинок"...⁵ Потом я встречаю его на обедах у моего дяди Егора Петровича⁶,-- совсем Некрасовым,-- сотрудником "Отечественных записок" по всем отделам, даже рецензентом, отбивающим работу у Белинского, потому что работал сходнее,-- а редактор Краевский⁷ сходную работу предпочитал всякой другой. Приезжали они, сходный сотрудник и любитель сходных сотрудников вместе, "на его кошт", говорил он. Редактор уже тогда был чугунно-монументален и невозмутимо тверд (таким он, должно быть, и родился); придерживался он людей и разговоров солидных. Сотрудник тотчас после обеда убегал от тех и других к нашей братии молодежи, протягивался в кресле и ноги укладывал на стол. Он говорил нам стихи, зачеркнутые цензурой, пародии, куплеты, подсмеивался над монументальностью "Андрея",-- иначе он не называл Краевского; был вообще молодо сообщителен и прост, не взирая на начинавшуюся известность, далеко превзошедшую Андрееву.

Вслед затем я видел его в коляске, щеголявшего модными жилетами и красивую нарядную жену Панаева⁸. На кошт последнего он осуществил раскол с Андреем, от которого

все лучшие силы "Отечественных записок" перешли в "Современник", арендованный у Плетнева⁹ на заложенные в опекуновом совете панаевские крепостные души. А далее он сам ездил в той же коляске, которая уже была коляскою не Панаева, вдвоем с красивой женой Панаева, которая тоже перестала быть женою Панаева...

Теперь Некрасов вместе с нею приехал в Рим,-- "помирать", иронизировал он над собою: "лекаря за этим самым послали. Ну, да авось либо еще, надует,-- не умрем..." И он действительно надул: от горловой чахотки, которую у него открыли в Петербурге, вылечился на Монте-Пинчио в Риме и воротился здоровым домой.

Его спутник "Фетушка" приехал не лечиться, даже не мог заболеть в невозможной темной и холодной квартире¹⁰, какую он один способен был нанять в совершенно темном и холодном, как погреб, переулке, но сохранил привезенное с собою вожделенное здоровье. На Пинчио он выходил только перед закатом солнца, да и то потому, что там гремела в это время военная музыка. Восход солнца Фет наблюдал из своей спальни.

- Вижу,-- рассказывал он,-- солнце всходит. Протираю глаза,-- а это оно в оконную щель... да так-таки, как следует, вот как на Риги и всходит... Котьята тоже в щели лазают, ей-богу.

Разумеется, холод в такой спальне был страшный.

- Вот, толковали,-- тепло, а у нас не в пример теплее,-- вывел заключение Фет.

По вечерам сходились у Некрасова или у меня.

- И отчего это у вас тепло?-- удивлялся назябшийся дома Фет. - У меня холод просто гиперборейский.

- Оттого, что у нас солнце греет целый день, а у вас только всходит и вдобавок в щели... У нас ни котят, ни солнечных восходов нет, оттого, что нет щелей.

- Ну, уж будто бы и оттого?-- не доверял он. - Я вот с утра до вечера жарю чугунок, и то не теплеет, только голова трещит. Нет, у нас лучше...

Но благодушный поэт писал и под этот угар прелестные стихи, большею частью сам того не подозревая.

- А нуте-ка, Фетушка, похвастите, что вы сочинили сегодня,-- обращался к нему за вечерним чаем Некрасов.

И Фет вынимал из бокового кармана свою записную книжечку.

- Должно быть, ерунда!-- опасался он.

- Прочитайте, скажем, коли ерунда, не утаим.

Оказывалось удивительное по гармонии и изяществу лирическое стихотворение. Мы хвалим, Фет удивляется,-- он ждал, что обругаем.

Другой раз он доволен,-- оказывается - ерунда.

- Вот подите же, угадайте!-- недоумевают он. Точно ли Фет всегда не знал, что будет петь, как выразился в одном из своих стихотворений¹² ("Я пришел к тебе с приветом..."), или притворялся, чтобы вызвать смех, которым обыкновенно сопровождалось его присутствие в близком кругу, но только он выдерживал это исправно.

Спокойное наивное выражение его лица в таких случаях дополняло комизм того, что он говорил. А говорил он вещи уморительные: например, передавал подвиги кавалеристов по морской части во время блокады английским флотом наших берегов. Служил он тогда в уланах. Вот получает он приказ: собрать эскадрон,-- топить суда в Ревеле.

- Собрал я эскадрон. Привел к морю. Людей спешил и велю по команде топить суда.

- "А как их топить?-- рассказывал Фет,-- ни я, никто не знает".

- Велите, вашскородие, по бортам окошки рубить над водой,-- посоветовал вахмистр.

- "Рубить" - скомандовал я. Стали рубить. Рубят, а судно не тонет.

- Раскачать надо,-- вода набежит, непременно потопит,-- советует опять вахмистр.

- "Раскачивай, ребята". И весь эскадрон принялся качать судно, все не тонет. Что тут делать. А немцы шельмы стоят на берегу и смеются.

- "Взять сюда немца! привести!" - скомандовал я. Привели.

"Как топить судно следует"?-- спрашиваю.

- Да не так, как вы топите! Вы людей-то, пожалуй, потоните, а судно нет,-- ломается немец.

- "Фухтелей ему", команду: --"говори, немец!"

- "Провертите в дне дыру, разом потонет, только убежать успевайте",-- испугался, научил, спасибо, немец.

- "И точно, как только провертели, так судно и пошло на наших глазах ко дну,-- насилу мои уланы удрать успели"...

Или повествование о необычайной образованности артиллеристов.

В Елизаветграде знакомая целому ряду поколений офицеров жидовка содержит трактир у самого въезда. Никто из военных его не минует. Даже корпусный командир и тот непременно отобедает и непременно порасспросит у еврейки: что новенького? Какие проходили команды, и что делали офицеры. Вот еврейка и примется рассказывать.

- Проходили, ваше превосходительство! много проходило,-- и офицеров много было... На днях были артиллеристы. Ах какие милые, какие образованные молодые люди. Такие милые, такие образованные, что того и сказать нельзя.

- Что же они такое, особенное делали?-- любопытствует генерал.

- Ах, ваше превосходительство! Они тут *всэ* делали: и ели - много ели! и пили - ах, как только они много пили, просто *прелиетити!!*. Потом *тарэльки*, *румки*, *путильки* -- *всэ* разбили - за *всэ заплатили!!* Ах, какие милые, какие образованные молодые люди!!.

- Надо бы перетащить Тургенева сюда!-- не раз говорил Некрасов и, наконец, поехал за ним в Париж; но застал Тургенева больным, причем даже умилился и даже отчасти в прегрешениях своих покаялся.

- Живет, бедный, в третьем этаже, даже лучший доктор не хочет его лечить: выше второго, говорит, не поднимаюсь. А мы-то на его счет наживаемся! Он нам подписку делает, а сам чуть не на чердаке больной лежит... Это выходит как бы уж и бессовестно...

Я знаю, что Тургеневу были высланы вслед затем деньги из редакции "Современника", не знаю только, была ли то замедленная уплата за выполненную работу, или выдача за будущую...

У Некрасова такие движения случались. Писателям, далеко не таким крупным, между прочим Пальму¹³, он выдавал вперед довольно часто и подолгу ждал отдачи рукописями. Сменивший его Салтыков гневно принялся требовать отдачи и сам не ссужал вперед...

Лучшего редактора, как Некрасов, я не знал; едва ли даже был у нас другой такой же. Были люди сведущее его, образованнее: Дружинин, например; но умнее, проникательнее и умелее в сношениях с писателями и читателями никого не было. Краевский был просто толковым хозяином литературной лавки со значительной приправой кулачества; литературного вкуса у него и духу не было. Некрасов был тонкого обоняния редактор, эстетик, каких мало (хоть он и обязан был скрывать этот порок от столпов своей редакции, Чернышевского и Добролюбова). Эстетическую контрабанду он один умел пронести в журнал через такие таможенные заставы, какие воздвигнуты были отрицанием искусства,-- в то время, когда... "рукописи с направлением" стояли ему поперек горла.

- Нынче,-- жаловался он,-- разве ленивый пишет без направления, а вот чтобы с дарованием, так не слышать что-то...

Статья и помимо содержания должна читаться. Она обязана быть литературной,-- и читаться в таком виде будет.

Знание вкусов читателей у него выражалось не без своеобразного юмора.

- Читатель ведь чего хочет? Он хочет, чтобы повесть была поскучнее; серьезная, дескать, повесть, не какая-нибудь,-- а ученая статья чтоб была повеселее: он прочитать ее может.

Никогда он не ошибался в выборе рукописей: "читаться будет!" - скажет и напечатает. Смотришь, читают точно. Ошибся он один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся, с повестью Достоевского "Село Степанчиково"¹⁴, которая была точно слаба, по которую тот привез с собой из ссылки и которую редактор "Современника" уже по одному этому обязан был взять,

- Достоевский вышел весь. Ему по написать ничего больше,-- произнес Некрасов приговор - и ошибся: Достоевский в ответ взял да и написал "Записки из Мертвого Дома" и "Преступление и наказание". Он только делался "весь". Некрасову на этот раз чутье изменило.

Печальный случай этот имел и последствия печальные. Что- "Современник" добровольно потерял те перлы, которые могли украсить его книжки, еще горе не особенное: он подбирал их в изобилии у Льва Толстого, у Тургенева, Писемского, Островского... Но в судьбе Достоевского, разбитого каторгой, больного падучей болезнью, озлобленного, щекотливого и обидчивого, отсюда пошел поворот, надевший на весь остаток его жизни кандалы нужды и срочного труда... А он только что избавился от других кандалов.

-- Если так, решил он,-- я заведу свой собственный журнал..

И тоже ошибся.

При помощи родного брата Михаила Михайловича, собрал он кое-какие средства: взял на себя отдел полемики: нападал, отбивался, грызся и грыз; но положил в это дело и свое здоровье и последние средства свои и брата (человека семейного), остался за барьером с долгами, с смертельным недугом, нажитым, в Сибири, развившимся в редакции. Он сердился, а его противники смеялись,-- и смех победил. Его журнал "Эпоху" Салтыков прозвал "юбкой", а членов редакции "стрыжами"; сам Некрасов поместил в "Свистке" несколько смешных куплетов на счет "Сухих туманов" и "Жителей луны", но целым месяцам населявших книжки журнала.

Когда же о сухих туманах
Статейку тиснешь невзначай,
Внезапно засвистит в карманах.
Тогда ложись и умирай

повествовал "Свисток".

Над жителями луны издевались еще больше, даже не прочитавши статей; а они затем именно и писались, чтобы доказать, что на луне никаких жителей нет. Бедный Достоевский от всего этого страдал глубоко; следы неприязни "Современника" видел там, где их быть могло не более, чем жителей на луне. Сломался в типографии какой-то вал как раз к выходу сезонной книжки: рука "Современника" и тут была,-- она сломала вал! без нее он не сломался бы!...

- Но ведь валы не в одной вашей типографии ломаются,-- старались его успокоить.

- Ломаются, да-с, но не к выходу книжки! А тут именно к выходу! и именно сезонной, перед подпиской. Нет, тут не без руки "Современника"! нет! Для меня это совершенно ясно!

Больно и жалко было видеть в это время Достоевского. Он походил на затравленного, но все еще огрызающегося зверя...

По возвращении из Италии Некрасов не нашел еще в России начала первых вольностей литературных; они пришли годом-двумя позже. Но когда они пришли, пришло и окончательное его возвышение как поэта и редактора. Только звон "Колокола" из Лондона в силах был покрывать собою "Свисток" "Современника"¹⁵, а руководящими статьями критическими, внутреннего обозрения и иностранной политики руководствовалось чуть не все, от мала до велика, читающее общество...

Имя Панаева еще стояло на сиреневой обертке журнала, по редакторство его ограничивалось держанием корректуры и фельетоном Нового поэта¹⁶. Панаев еще жил на общей с Некрасовым квартире; но в ней он занимал уже одну комнату во дворе, а ряд больших комнат на улицу принадлежал Некрасову. У последнего была шапка-боярка - мода, появившаяся с конца пятидесятих годов,-- из такого темного и седого соболя, что бедный Панаев, теперь обреченный на муки Тантала при виде всего модного, ему более не доступного, готов был, по собственному сознанию, отдать несколько лет жизни за эту шапку! Самый модный англичанин-портной облакал теперь в самые отборные изделия английских мануфактур тело Некрасова, когда-то довольствовавшегося произведением с толкучего рынка, и самые тонкие обеды подавались по несколько раз в неделю самому разнообразному составу гостей когда-то голодавшим Некрасовым... Благодаря почти чичиковской способности с каждым говорить и обходиться соответственно его значению, Некрасов делил и гостей своих соответственно значению обедов или обеды задавал соответственно значению гостей. Так, у него были обеды для людей светских, преимущественно игроков, ничего общего с литературой не имевших. Это были самые тонкие обеды. За ними следовали обеды для знаменитых литераторов, вносителей беллетристических перлов в сокровищницу "Современника", с редакцией имевших мало общего; потом обеды редакционные, собиравшие к столу постоянных сотрудников журнала; такие давались редко, в случаях исключительных; наконец, обеды, которые можно было назвать эстетическими, где Некрасов, не сдерживаемый препятствиями "направления", позволял себе являться эстетиком по душе, отводя эту душу от обедов редакционных, для которых эстетика запрятывалась так, чтобы и подозрения о ней не было.

На эстетических обедах бывало по два, по три человека, не более: Дружинин, Гончаров, иногда Григорович. Тут хозяин читывал те душевные излияния своей поэзии, каким суждено было долго не появляться на свет. Для своего "Рыцаря на час" он позвал только Дружинина и меня и прочел со слезами в голосе этот покаянный вопль своей греховной души...

Читал он всегда все (кроме самых крупных вещей) наизусть. Память у него была удивительная, а писал он необыкновенно легко.

- Я запрудил бы стихами литературу,-- говаривал он,-- если бы только дал себе волю.

Из обедов, задававшихся носителям перлов, мне остался памятнее других тот¹⁷, на котором я познакомился с Тургеневым. Обед этот мог бы быть назван выставкою цвета русской литературы. Выбившись из-под николаевского снега сороковых и начала пятидесятых годов, она отходила теперь на весеннем солнышке первых вольностей воцарившегося Александра. Тут были: печатавший своего "Обломова" Гончаров - кругленький, пухлый, с сонливо-спокойным взглядом светлых глаз из под широких век в ячменях; Писемский - с лицом, как самовар из красной меди, и черными на выкате, как уголья, глазами,-- Писемский "Тысячи душ" и "Горькой судьбины"; рыжеватый и белый, как банщик или молодец из лабаза,-- Островский "Любима Торцова", огромный Тургенев "Дворянского гнезда", которое уже набиралось для "Современника"; сухой, с длинным лицом, висячими волосами и бородой Полонский "Кузнечица-музыканта", тоже длинный, по пооткормленнее или брюзглее, с подслеповатыми, вечно потупленными глазками Дружинин, редактирующий "Библиотеку для чтения"; похожий на маркера Панаев - Новый поэт "Современника"; прозванный им "critique fin" {"тонкий критик" (*франц.*.)} Анненков, пучеглазый, с кувшинным рылом, получивший свой свет от больших солнц литературы, около которых неустанно вращался; московский краснобай, остроумный и стародавний, теперь заново реставрированный писатель Павлов¹⁸, в высоком, намотанном вокруг шеи галстухе по моде тридцатых годов; наконец, два самых ярких представителя только что народившейся породы "новых людей" - будущих нигилистов,-- Чернышевский, маленький, бледный и худой, в золотых очках, с тонкими чертами лица и длинными светлыми волосами, и Добролюбов,-- высокий, с волосами довольно темными, крупными чертами лица (строгого педагога или протестантского пастора) - тоже в очках. Оба с ироническим отношением к окружающему. Молчание было с их стороны ответом на все, что ни говорилось. Один только раз пошутил вслух Добролюбов и то по адресу своего соседа Чернышевского, когда заговорили о каком-то стихотворце, который писал оды Николаю и ходатайствовал о переименовании его настоящей фамилии в фамилию Николаевского.

- Как переименовали Грязную улицу,-- вставил Добролюбов.

Улица эта недавно была из Грязной переименована в Николаевскую.

Анненков увидел возможность совершить вращение в сторону восходящих солнц: поднял над тарелкою ладони и изобразил ими рукоплескание. Но там это не было даже замечено.

Некрасов разливал суп в голове длинного стола, Панаев - в хвосте накладывал щи. Разговором с понаторелостью москвича и светского человека завладел Павлов, не стеснясь соседством Тургенева, первенство которого, на то время бесспорно признанное, таким образом как бы упразднялось. Иван Сергеевич делал вид, что тем лучше для пего, пусть эту тяготу берут на себя другие. Он прижимал висок концами пальцев и жаловался на мигрень. Напрасно пытались его развлечь и увлечь разговором, который, по общей участи разговоров русских людей, будь они сама соль земли,-- никак не переходит в увлекательный. Тщетно подносили Тургеневу вазу с буше-де-дам¹⁹, которые лакомый Панаев называл "усладю жизни": он ото всего отказывался, капризничал, как женщина и пришепывал, как дитя. После обеда он повалился на широчайшее кожаное пате, усадил рядом Полонского и принялся расспрашивать, что его жена? Полонский привез тогда из Парижа свою прелестную первую жену²⁰, веселую и щебетавшую, как птичка.

Знакомство наше с И<ваном> <Сергеевичем> на этот раз ограничилось обменом тех пошлостей, от которых не краснеют только потому, что они говорятся при первом знакомстве. Началось же оно и не совсем благополучно, с того достопамятного вечера, когда П. В. Анненкову вздумалось сюрпризом привести Тургенева к нам.

Павел Васильевич был своего рода литературным оруженосцем Ивана Сергеевича и в этом качестве несомненно перейдет в потомство вместе с своим знаменитым испанским собратом²¹. Он отвел в себе помещение для всего, что касалось его рыцаря; часто сам Тургенев отсылал к нему за разрешением своих личных вопросов: "Спросите у Анненкова, он это лучше знает".

Анненкову не терпелось показать Тургенева поближе, и вот он привел его прямо вечером, когда у нас собирались запросто. Сидели: Фет, Григорович и Дружинин. Вдруг вбегает Анненков, с глазами, уж и в спокойном-то состоянии достаточно выпученными, но теперь просто выскакивавшими из головы, и, в том возбуждении, в каком находится носитель чего-то необычайного,-- восклицает: "Кого я с собою привел! Угадайте. Пари держу, не угадаете!"

- Разумеется, *Тургеньева!*-- протянул мягким своим произношением Дружинин.

- Ивана Сергеевича! Да, дорогого гостя!-- кричал радостно Анненков. - Он поднимается себе потихоньку, а я так залпом взбежал на лестницу.

- Как оно и подобает в ваши молодые годы,-- вставил Дружинин.

Анненков был лет на десять старше Тургенева²²,

Он суетился. Ему хотелось весь дом поднять на ноги.

- Дорогой гость! Вот уж дорогой-то гость!-- возбуждал он присутствующих. Наконец-таки не выдержал,-- выбежал в прихожую и оттуда с торжеством ввел Тургенева.

Но дом ли недостаточно поднялся, или не было той стены женских юбок, которая тотчас возникала вокруг, куда он ни показывался (ах, Иван Сергеевич! *Cet adorable* {Этот обожаемый (*франц.*)} И<ван> С<ергеевич>! очаровательный И<ван> С<ергеевич>! Ах, И. С!.. Ох, И. С!..),-- только лицо дорогого гостя приняло сразу выражение неудовлетворенное, не то усталое, опять угрожающее мигренью.

На всех точно горькая капля упала. Анненков даром растрачивал свою игривость; наивные выходки Фета, которые в другое время удостоивались даже перехода целиком на страницы произведений И. С.²³, едва снискивали его снисходительное прощение. Долее других не истощался вообще неистощимый Григорович. Он пробовал пустить в ход, кроме самого себя, наши альбомы, стараясь придать рисункам значение преувеличенное, но и те не получили ничего, кроме снисхождения. За чаем И. С. находился уже окончательно во власти мигрени, не отрывал рук от висков, почти не слушал обращаемых к нему слов и довольно рано встал и распростился. Огорченный Анненков последовал за ним.

Тем, которые остались, вдруг сделалось стыдно,-- точно они провинились чем-то: невольное чувство при виде неловкости или несправедливости другого.

- Черт знает, право, что за человек этот Иван Сергеевич!-- первый заговорил Дружинин. - Милейшее в мире существо, а наделает вдруг таких пакостей, как никто! И ведь всегда почти для первого знакомства. Просто даже досадно. Вы вправе о нем думать теперь, как о величайшем невеже. И все оттого, что никак не может спроста,-- непременно надо для начала поломаться.

Вслед за Дружининым заговорили другие, и всякий привел несколько случаев таких же шероховатых начал знакомства с Тургеневым, переходивших потом в самые задушевные... От человека обратились к писателю. И здесь опять Дружининым обнаружена была храбрость, несвойственная соприкасавшимся к Тургеневу. Он дерзко заметил в великом писателе способность "изгадить", как выразился, самый лучший сюжет в мире, благодаря бесхарактерности и лени. В появившемся тогда романе "Накануне" (роман только для ленивейшего Ивана Сергеевича),-- добавил он,-- это было особенно поразительно. Отсюда же прямо перешли на статью о "Накануне" Добролюбова²⁴, составлявшую дневную злобу литературных кружков. Она должна была появиться в "Современнике", но покуда не появлялась. В ней устами критика впервые говорилось гласно о том, о чем до сих пор проговаривались тайно. Некрасов по дружбе, еще висевшей на ниточке, послал автору корректурные листы, предоставляя указать места неприятные и обещая их сгладить или совсем выбросить. Тургенев, к удивлению, от такого права не отказался. Однако, как Некрасов ни стриг добролюбовских ногтей, а они все-таки царапали самолюбие избалованного писателя.

Я выразил мнение, что Тургеневу следовало бы просто вернуть корректурные листы, не читая, и сказать, что он прочтет статью, когда она появится в журнале. Поспорили, посудили - кой-кому такой взгляд показался слишком радикальным,-- довольно поздно разошлись и позабыли о том, что было. Как вдруг поутру входит мой дядя Егор Петрович Ковалевский и испуганно спрашивает: что у нас такое вышло с Тургеневым.

- Ты его смертельно обидел,-- говорил дядя,-- прибежал ко мне чуть свет, жалуется, что у вас его осуждали, и ты всех больше. За что это, объясни бога ради? Он просит моей защиты... Только еще дуэли недоставало...

Трагический оборот вчерашнего вечера делался смешон. Я в таком смысле объяснил происходившее дяде. Он не раз захлебывался своим смехом.

- Я вас помирю!-- решил он.

Таким образом, все разъяснилось и уладилось. Осталось неразъясненным одно: кто мог передать Тургеневу и когда успел? Разошлись так поздно, что надо было позаботиться только о том, как бы поскорее уснуть.

Прошла неделя. Собрались опять. Первым явился Григорович и еще на пороге, прижимая руки к груди на ходу, стал божиться: - Клянусь богом, это не я!.. Я ничего не передавал!.. Клянусь, это не я!..

И этим себя выдал. Посмеялись еще. Трагедии так-таки и не вышло.

О происшедшем Тургенев никогда ни одним словом не обмолвился. И мы всегда встречались, как будто никогда этого и не было.

В натуре Тургенева было столько женственного, что не могло не быть и мелкого; в ней по тому же самому много было и обаятельного. Ведь и его дарование имеет обаятельность женщины. И не было ли преобладание мелких черт одною из причин притягательности Ивана Сергеевича? К таким обыкновенно боятся и приступиться. А кто же боялся приступиться к милейшему Тургеневу? Ему, напротив, случалось бояться, и совершенно напрасно, каких-то исполинов искусства, которых он сам же открывал.

- Пропали мы все! Пропали!-- кричал он, бывало, по поводу выкопанного им стихотворца или беллетриста. - Всех нас лоском положит!-- И при этом падает ничком на диван и даже совершенно несоответственно своему росту дрыгает ногами...

Разумеется, не пропадал никто, кроме тех, которые лоском должны были класть других, и И. С. успокаивался - до нового открытия.

Зато было у него чутье там, где другие ничего не чуяли. Помню его замечательные слова при появлении Льва Толстого: "Вот, наконец, преемник Гоголя и, как следовало ожидать, нисколько на него не похожий".

Совокупите все эти черты, и только тогда предстанет некоторый облик Тургенева. Говорю "некоторый", потому что сужу по его облику живописному, который не передан никем сполна. Даже у таких мастеров, как Перов²⁵, К. Маковский²⁶, Репин²⁷, Тургенев еще не Тургенев. У одного он почти монументально строг, у другого до приторности сладок, у третьего как бы и тот, да не тот. Портрета Харламова²⁸ я не видел, но слышал, что и он не передает Тургенева. Прочтите, наконец, описание его наружности во множестве появившихся воспоминаний, записок. О ней говорят или как о необычайно изящной, или как о наружности великана. Французы так-таки и называют его великаном (*un géant*). А между тем о ней всего ближе можно выразиться, что она была изящно-груба, барски-аляповата в смысле старого настоящего барства, еще по русски здорового, на приволье наследственных тысяч десятин и тысячи душ, мускульно развитого и только покрытого французским лаком... Тургенев был изящен по манерам, тонок по обращению (когда не ломался), по вкусам, но уж отнюдь не по чертам лица,

которые были крупны все, кроме глаз, не по складу тела, тяжелого и мешковатого. За улыбку этих маленьких светлых подслеповатых глаз женщины обожали его как мужчину, мужчины,-- почти как женщину. И точно, улыбались эти глаза совсем особенно, по-тургеневски: так ни у кого они не улыбались... У такого большого человека, а все самое маленькое и было-то самое лучшее, глаза, и "Записки охотника", и "Первая любовь", и так называемые "Стихотворения в прозе"...

Последняя моя встреча с Тургеневым была осенью 1881 г. в Петербурге, в магазине Овчинникова, где он покупал для Парижа серебряные вещи в русском стиле. Никогда еще я не видел его в таком цвете здоровья. Это был в полном смысле слова розовый, отлично выкормленный, моложавый старик, с блестящими жизнью глазами, которому готовилась гетевская старость, что я ему и выразил.

- Да, я-таки понабрался черноземного здоровья в деревне,-- хвалился он,-- и совершенно собою остаюсь доволен...

- А не набрались ли еще чего другого? - спросил я.

Он улыбнулся своею улыбкою глаз.

- Я, знаете ли, как губка: приеду в Россию, напиваюсь, сколько могу. Потом жму себя. Иной раз пожмешь,-- окажется, напился недурно,-- потечет; а другой раз выцедишь несколько капель...

- Будем надояться, что на этот раз потекут целые потоки...

- Где уж нам о потоках помышлять.

Мог ли я думать, что два года спустя, в чудное осеннее утро, какие расстилаются во всей своей красе над Комским озером, я прочту в числе известий, до которых мне не было никакого дела, в какой-то газете, валявшейся на столике Трактирной террасы в Балляджио,-- что Тургенев умер. Краски чисто тургеневского пейзажа лежали на воде, на горах и в воздухе... Пейзаж этот стоял передо мною живой, и стоит он теперь живой, и всегда будет стоять... и его будут видеть другие, а художник, его так чудно передавший, уж никогда не увидит!..

Но возвратимся к прерванному повествованию об обедах Некрасова.

Чуть ли не самые многолюдные были обеды редакционные, а уж самые разношерстные были, несомненно, они. Помню огромные глаза Салтыкова, перепуганно озирающиеся на сотрапезников, между которыми дикообразный Решетников²⁹ производил на него какое-то удручающее впечатление.

- Сядемте, пожалуйста, рядом. Ей-богу, даже небезопасно,-- уговаривает, бывало, Салтыков.

Если когда корм бывал не в коня, то уж, конечно, на этих обедах. Порционные цыплята, зимою и летом, выставка бутылок разнообразных вин перед каждым прибором,-- являлись тут почти насмешкою. Собирались, например, сотрудники обсудить вопрос: по сколько копеек вычитать из их гонорара, чтобы собрать сумму на случай крайней нужды одного из них, не прибегая к пособию "Литературного фонда", и тут же издерживалась сумма в цыплятах и дорогих винах, в которых никто не нуждался. Многие, напротив, страдали от замены ими простой водки. Салтыков особенно занимался такими страдальцами.

- Посмотрите, посмотрите! Видите, как страдает!-- толкал он меня локтем, указывая на преследовавшего его Решетникова.

Тот выбирал между бутылками, чего бы влить в себя посущественнее; но в сравнении с водкой, существенным ничто не представлялось. Он поднимал бутылку повыше, смотрел на

свет, что в бутылке содержится, пытался получить указания от ярлыков, но они были иностранные; наконец, вздохнувши, наполнял до краев стакан хересом и вливал себе в горло, как в трубу.

Тут уж Салтыков не выдерживал: "Какое животное",-- шипел он злобно.

Некрасов благодушно усмехался во все стороны.

- Пусть их полакомятся!-- говорили его карие с лукавинкой глаза,-- не всякий день получают.

Не всякий день получались тут и те мнения, какие высказывал хозяин по разным предметам. Более чем когда, они были чичиковски приветливы к составу обедавших.

Нельзя не упомянуть еще об обедах специальных с глазу на глаз с одними редакторами - обедах сперва для цензора, а впоследствии для члена управления по делам печати, приставленного ходить за журналом. Эти исключительные обеды не допускали для себя полной гласности, подобно людям, для которых они предназначались. Как-то я, ничего не подозревая, пришел к Некрасову в послеобеденный час. Со стола еще только убирали. Было это уже по запрещении "Современника", когда Некрасов вместе с Салтыковым редактировали "Отечественные записки", откупаясь от Краевского его подписью на задней обертке журнала, за которую он получал от них не менее ста рублей с буквы каждый месяц. И каково же было мое удивление при виде следующей картины: маленький Фукс³⁰ - тот самый Фукс, которого Салтыков, в качестве Щедрина, печатно называл Фуксенком, да еще с эпитетом "поганого", закуривает сигару о сигару Михаила Евграфовича, уста в уста, и Михаил Евграфович, хоть мрачно, но поддается этому иудину лобзанию сигар.

- Прикармливаем зверя,-- объяснил мне Некрасов,-- приставлен ходить за нами...

Салтыков злобно взглянул на меня и так мотнул шеей, как даже обыкновенно не мотал. Его совсем перевернуло.

Я не мог удержаться от улыбки.

- А вы уж и рады!-- брякнул он, по его мнению тихонько, но так, что всем было слышно.

- Ведь он дьячок,-- объяснил Некрасов, провожая меня потом в прихожую,-- по селам такие водятся: злобные и с косою. Поискать у Салтыкова под сюртуком хорошенько, так у него непременно эта самая коса на загривке окажется...

- А крепко не любит, чтобы его в таком виде знали. Все норовит, как бы в наилучшем!-- подсмеивался он.

Некрасов откровеннее совершал то, чего не мог делать в наилучшем виде. Раз мне довелось так же неожиданно зайти к нему в самый разгар игры, продолжавшейся несколько суток. Остатки не то ужина, не то завтрака на тарелках, на блюдах, на подносах, стоявших в беспорядке, где ни попало: по стульям, диванам, на корректурных листах,-- бутылки, стаканы и несколько человек играющих, в. таком же беспорядке, заставили меня попятиться назад. Но Некрасов меня увидел и предупредил.

- А, это вы, отец! куда же вы! Дайте я к вам вылезу.

И точно вылез и повел в другую комнату.

- Это мы "освежаем" новичка,-- объяснил он мне. Третью ночь не ложимся. Кто послабее, вздремнет на диване... И ничего. Нервы только это отлично разматывает: как покончим, стихи писать стану.

Он уверял, что никогда так хорошо не пишет, как после "освежений".

- А то заспишь, знаешь, совсех их, проклятые (нервы), ходишь, как дубина!

И этого человека посылали умирать когда-то в Италию!

- А что значит "освежать"?-- полюбопытствовал я.

- Это, отец, хорошее слово. Я ему выучился у нашего повара. Когда он потрошит птицу, так говорит, что ее "освежает". Вот и мы тоже, когда потрошим горячего игрока, то говорим, что освежаем его...

Искренность это или цинизм - что хотите; но во всяком случае не притворство.

Притворялся Некрасов не в жизни,-- он был слишком по-русски сметлив, чтобы притворяться там, где шила в мешке не утаишь,-- притворялся он гораздо хуже: в искусстве, в деле, на которое природа благословила его особым даром. Он родовое свое достояние сдал в пожизненную аренду под чужие учения, которых даже ясно не создавал, потому что их хорошенько и не знал, а принял на веру от других. Как человек недюжинного ума и смекалки необыкновенной, он привык к этим учениям и, не сроднись с ними душой, пребыл им умственно верен до конца. Он сдерживал вдохновение, когда оно рвалось не в ту сторону, и завидовал тем, кто не был обязан его сдерживать.

- Да кто же вас-то обязал?-- бывало спросишь его: - за что вы на себя цепи-то кладете?

- Кто обязал, отец? Все мое литературное прошлое и те люди, которые идут со мною. Разве я вправе от них отделиться? Вы-то вольны, а я не волен... нет.

Он не решился напечатать в "Современнике" одного стихотворения (которое ему очень нравилось) за то, что в нем говорилось о косьбе, как о забаве и веселье мужика в ведро, а не как о тягостном труде.

- Да ведь это так и есть на самом деле. Ведь мужики даже в праздничные рубахи одеваются для этого!

- Так-то оно так, отец! Только мне-то нельзя в моем журнале так разговаривать. Скажут: Некрасов мужика жалеть перестал: где забаву нашел, в косьбе!..

- Значит, надо говорить неправду: что косьба - мука?

- Надо, отец! Делать нечего. Я-то отлично знаю, что не мука она, а доподлинно забава и есть для мужика. Да, нет не велят нашему брату таким манером разговаривать-то.

Совершенно эпически начатую поэму "Кому на Руси жить хорошо" он дальше принялся портить дидактическими вставками потому что те, которые "не велят таким манером разговаривать", нашли добродушно-шутливое отношение к мужику неуважительным. Никуда негодные сатиры он писал смело, а лучшие лирические вещи украдкой, в роде того, как ученики сочиняют стихи под классной скамьей.

Отдавши себя в неволю в том, что должно было составлять раздолье и отраду жизни, свободный только в средствах материальных, которые лились на него дождем и с литературно-журнального и с игорного горизонта (он был необычайно счастлив в картах и так сдержан, что всегда оставался в выигрыше),-- Некрасов вполне свободно предавался только страсти к охоте, да к своей черной лягавой "Кадошке", которую любил, как человека. По свидетельству старика Дюма, "le grand poète russe" любил еще и Григоровича; но я этого уже не застал и могу свидетельствовать только о любви его к "Кадошке"...

Ему позволялось вскакивать на стол за обедом и лакать воду из хрустальных кувшинов; для него подавалась жареная куропатка или жареный рябчик, и он их съедал на ковре, иногда заносил на диван и трепал на дорогой обивке. ("Надо заметить этот диван!" говаривал аккуратный Гончаров, "чтобы никогда на него не садиться"). Когда собака была больна, лекарства она получала от знаменитого врача, лечившего самого Некрасова. Трагическая ее кончина (ее подстрелили нечаянно на охоте) вызвала в Некрасове сознание, что он только тогда испытал истинное горе и понял отчаяние от утраты дорогих существ, когда увидел Кадошкин труп. Он упал на него и рыдал истерически. После того он долго не заводил собаки и бросил на время самую охоту.

Из рассказанного, пожалуй, можно бы вывести заключение, что редактору сперва "Современника", а потом "Отечественных записок" на занятия по редакции и времени не оставалось. А между тем это было не так: редакция руководилась им неуклонно, как оркестр хорошим капельмейстером. Так, как хороший капельмейстер набирает хороших музыкантов и, убедившись в их умении делать свое дело, требует одного внимания к движениям своей палочки, так и Некрасов умел подобрать сотрудников, которым довольно было сказать: "Отцы, маленечко потише!.." или: "приударить позволяется, отцы - валяйте", и редакционный оркестр исполнял литературные симфонии и фуги, каких в других редакциях не исполнялось. При этом деликатность Некрасова была так велика, что не только в дело первой скрипки или виолончели, какими были Чернышевский с Добролюбовым, он никогда не позволял себе вмешиваться, но составителя фельетона он оставлял самостоятельным в игре на своей дудке: в какие-нибудь не имевшие значения статейки {Статьйки печатались под рубрикой: "Письма в глушь".}, перемешанные на половину шуточными стишками и пародиями (приписанными, кстати сказать, Ефремовым Некрасову в посмертном издании сочинений последнего), один раз только редактор, и то с моего согласия, вставил свои собственные стихи по случаю поднесения Каткову чернильницы с тем, чтобы тот "мокал в разум"³¹. До лирических же стихотворений этот первый поэт своего времени никогда не позволял себе дотронуться, и только если его вызывали на замечания, он их делал.

- А то какое же я имею право их делать, отец! Разве вы не такой же писатель, как я. Вы не ученик, я вам не учитель...

Редакция Некрасова не была тем журнальным департаментом, где редакторы, маракующие с грехом пополам только в грамматике, цепенеют перед всяким живым словом или оборотом и исправляют писателей, как директоры своих столоначальников. Этих скопческих скитов журналистики еще не существовало в те времена, да и литература еще не была перечислена по счетной части. Отношение к календарю, составляющее единственную сердечную сторону последующих редакторов, было у Некрасова самое холодное; ему не было никакого дела до первого числа; если тридцатого попадалась живая статья или материал для нее,-- первое число могло случиться хоть пятнадцатого.

- Книжка должна свежим человеком выйти в свет,-- говаривал он.

- И жаркое то хорошо, которое с пылу; зажаренное за полчаса не годится.

Зато при нем книжки журнала в самом деле были живыми. Не тем, так другим способом, а он вдыхал в них жизнь. Когда воздвигались строгости цензурные, он находил средство "не кормить сеном", как выражался, а пускал в ход прибереженные про черный день связи с писателями-эстетиками или прибегал к тем скучным, но цензурно невинным повестям, которые "читатель любит", как глубококомысленные, и к ученым статьям "повеселее". Это все-таки было не сеном и могло сходить за посредственный овес, впрямь до возможности всыпать хороший.

Как уже упомянуто, Некрасов довел до самоотверженности свое служение направлению. Самоотверженностью, которая перешла на этот раз в самооплевание, объяснял он и прискорбный случай с Муравьевым³² в Английском клубе. Известно, что Муравьев был одно время чем-то вроде руки всевышнего, которой суждено было отечество спасти - от чего? Да просто от всего: от толстых журналов до стриженных женщин включительно. Отсюда - совершенно понятное общее уныние и трепет в области журналистики, представляемой Некрасовым как редактором толстого "Современника" {Я имел на глазах образчик того, как

относилась цензура к этому журналу. По поводу какой-то моей статьи, с которой я поехал к председателю цензурного комитета. Турунову³², он сказал мне без обиняков: "Печатайте во всяком, каком угодно журнале, вам ее пропущу; но в "Современнике" - ни за что".}. Трепетал ли редактор и за Некрасова, не берусь решать; между трепетными, во всяком случае, я его не считаю на одном ряду с Салтыковым. Так или иначе, но он решается на самозаклание и кладет себя искупительною жертвою на алтарь муравьевского всемогущества. Чтобы спасти направление, он погубит себя.

И вот после одного из обедов в Английском клубе он подходит к современному Аттиле³³ толстой журналистики и стриженных женских голов - становится перед ним и, при свидетелях, произносит стихи³⁴, благословляющие на подвиг отращения волос и острижения журналов. Аттила окидывает его презрительным взглядом и поворачивает ему спину.

Спасено ли хоть направление? Ничуть. Журнал немного погодя запрещается...

Я помню угнетенный вид бедного Некрасова после совершенного им подвига.

Сделать подлость, но умно сделать,-- еще за это простить могут; а сделать подлость и глупость разом - непростительно. Может быть мне изменяет память, но с тех пор самый образ жизни Некрасова потерпел перемену: дом его стал менее открытым, обеды не так часты и гораздо проще. Те угощения, которые прежде являлись по магию невидимой руки вдовы Панаева, отошли в предание вместе с нею и с поваром, "освежавшим" дичь и карман Некрасова. Обедали больше запросто; готовила кухарка, хотя отличная; у стола служил бородатый охотник "Никандр" в платье с некрасовского плеча, и если его кто-нибудь называл Никандром, то Некрасов непременно прибавлял: "Никандра, отец, он иначе себя не понимает". На обедах присутствовала уже для всех видимая другая хозяйка - белокурая Зиночка, столько же соответствуя простоте новой обстановки, сколько старая обстановка соответствовала остроумной и блестящей брюнетке Авдотье Яковлевне... Редакция арендованного уже другого журнала ("Отечественных записок") не кормилась и не поилась вовсе. Бывал один Салтыков, да и больше, когда случалось "прикармливать" какого-нибудь редкого цензурного зверя... Вносители перлов беллетристики или перестали совсем нестись, или клали свои яйца в другие журналы. Один Островский остался неизменен и пил шампанское, начиная с супа. Другого вина он не пил или, уж если пил, то "зелено вино".

Потом Некрасов пошел болеть. Неизлечимая болезнь (рак в кишках), мучительная, долгая, заживо похоронила его для всех, кроме двух не оставивших его ни на минуту женщин: этой самой Зиночки и родной сестры³⁵. Они соперничали в самоистязаниях: каждая не давала себе спать, чтобы услышать первый его стон и первой подбежать к постели. Для этого Зиночка, которая была моложе и со сном справлялась труднее, садилась на пол и уставлялась на зажженную свечу:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоём
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей.
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные очи.
Зина! усни...

Но Зина не закрывала очей и не давала себе уснуть.

Зато, по истечении этих двухсот дней и ночей она из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху с желтым лицом и такую осталась.

Недобрые люди давали свое толкование самоотверженности этих женщин: у больного было большое состояние...

Состояние Некрасова было действительно велико. Он из него мог отделать целое барское имение в Ярославской губернии, купленное за значительные деньги, в котором он проживал летние месяцы, подарить брату; в состоянии был заказать походную церковь, чтобы в своем кабинете обвенчаться с Зиночкой перед смертью, и выписал из Вены знаменитого оператора, чтобы вслед за тем умереть, заплативши за это чуть ли не двадцать тысяч рублей; наконец, он не скрывал незадолго до смерти, что у него не одна сотня тысяч в процентных бумагах. И двести дней болезни, хотя бы усугубленных не двумя или тремя медицинскими знаменитостями Петербурга и одной Вены, но целым их десятком,-- хотя бы они лечили не иначе, как пилюлями из литого золота, а порошками из толченого алмаза,-- не в силах были бы залечить такую кучу денег. Однако денег после покойника не осталось. Зиночка даже продала с публичного торга его носильное платье, и сама осталась бедною Зиночкой...

А кто остался богат,-- для всех тайна. Сестра покойного тоже не разбогатела; ей досталось одно право собственности на сочинения брата. Или состояние опять было принесено в жертву "направлению" - скрыто, а с тою же целью показано только незначительное имущество для основания народной школы имени народного поэта?.. И здесь, тайна...

Всю жизнь скрывать врожденное эстетическое чувство; выражать в поэтической форме голода и холода простонародья, и в то же время жить баринем в полном смысле слова; наконец, умереть, не оставив ничего,-- чтобы хоть было подозрение в чем-то общем с бедным народом: какой добровольный крест и для чего!..

Последние дни жизни забота о прославлении себя за гробом возложила на Некрасова новый крест: он начал допускать к своей постели людей, которые прежде никогда не получили бы доступа к его креслу: разных газетных глашатаев, публицистов пошустрее, из грязи вылезших редакторов и всякую пресмыкающуюся литературную тварь. Они его утомляли до изнеможения; разведывали, расспрашивали, выворачивали ему душу, чтобы пересказать, чем она подбита; что-то записывали и, не дождавшись, чтобы он хорошенько закрыл глаза, пустились взапуски платить по медвежьему за переданные (и еще переданные ли?) откровения...

Мне довелось однажды попасть на следующую сцену. Некрасов лежал спиной к окнам, лицом к стене, с которой смотрел сосланный в деревню Пушкин, читающий Пушкину стихи (картина Гэ). Приподнятое острое колено Некрасова торчало под простыней, как на портрете Крамского. Сбоку, у самой кровати, на стуле сидел взбудораженный и алчный газетчик, прислушиваясь к тому, что через силу протягивал сиплым совсем уже беззвучным голосом больной.

Как только я подошел, он разом замолк.

- Устал, отец. Довольно,-- обратился он к газетчику.

- Как-нибудь позвольте в другой раз?-- заегазил тот.

Некрасов отмахнулся рукой, как от комара, и закрыл глаза. Газетчик удалился, но прежде записал-таки что-то в книжечку.

- Вот так-то: на них и суда не найдешь. Как оводы летом,-- протянул Некрасов и усиленно принялся стонать. Зиночка так и налетела.

Я видел, что ему было совестно. Мне за него тоже: "не в лучшем виде застал я его".

Многое происходило не в лучшем виде на глазах подбиравшейся каждый час смерти. Не в лучшем виде были и возложения на гроб венков во время погребального шествия по улицам,

переодетыми в баб женщинами с направлением. Венки,-- бабы,-- как это одно с другим не ладится!

Впрочем, венки и бабы за гробом, тонкие вина и голодные сотрудники за обедом,-- это только две разных сцены, но из одной и той же комедии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые: РС, 1910, т. 141, No 1, с. 25--46. Перепечатано в кн.: *Ковалевский П. М.* Стихи и воспоминания. СПб., 1912, с. 269--300; а также в кн.: *Григорович Д. В.* Лит. воспоминания, с. 414--452.

Печатается с сокращениями <сокращения восстановлены по первой публикации> по тексту изд.: *Ковалевский П. М.* Стихи и воспоминания. СПб., 1912.

Павел Михайлович Ковалевский (1823--1907) - поэт и литературный критик,-- родился в семье харьковского помещика. В 1845 г. он окончил курс Горного корпуса и пять лет служил на Луганском литейном заводе. В 1850 г. Ковалевский вышел в отставку. В 1853--1858 гг. он путешествовал по Швейцарии и Италии. Свои путевые очерки Ковалевский печатал в журналах "Отечественные записки" и "Современник". В 1856 г., в Италии, возобновилось и упрочилось его знакомство с Некрасовым. Воспоминания Ковалевского, талантливо и живо написанные,-- одни из самых ярких в мемуарной литературе о Некрасове. В предисловии к своей книге Ковалевский писал о задачах биографа: "Люди известные, или выходящие из ряда обыкновенных, представляются большею частию не так, как обыкновенные: они сами себя и их другие иначе не показывают, как с высоты подножия и в праздничном убранстве. От этого получается такое впечатление, как будто все они одним миром мазаны. Подойти к ним поближе, когда они стоят просто и на полу, как все (а стоят они совершенно так же, как все, и на полу), но будничному одетые, не показывая себя и даже не подозревая, что на них смотрят,-- было бы занимательнее.. Во первых, люди необыкновенные сделаются более похожими на людей, а, во-вторых, вблизи лучше видно, что не все то золото, что блестит, как и не все черно, что не представляется белым...

Я имею доброе намерение - подходить к людям поближе и рассматривать их попристальнее, хоть и не скрываю от себя, что намерение мое, оставаясь добрым, может оказаться недостижимым..." (указ. соч., с. 178).

¹ ... в половине пятидесятих годов. - Это было в 1856 г.

² ... нового царствования... - В 1855 г. на престол вступил Александр II.

³ *Любите и жалуйте.* - Фет вспоминал: "На Монте-Пинчио я встретил молодого поэта Павла Михайловича Ковалевского... Он представил меня своей жене, а я его - сестре; и таким образом мы познакомились" (*Фет А. А.* Мои воспоминания, ч. I. М., 1890, с. 173).

⁴ ... нарядная и эффектная брюнетка... - А. Я. Панаева.

⁵ ... а только Перепельский <...> или Н. Н.-- автор "статеек в стихах, без картинок"... - *Перепельский* - псевдоним молодого Некрасова. Буквами *И. Н.* Некрасов подписывал и много позднее свои стихи в "Современнике".

⁶ ... у моего дяди Егора Петровича...-- Ковалевский Егор Петрович (1809 или 1811--1868) - писатель и путешественник, почетный член Российской Академии наук с 1857 г.

⁷ *Краевский* Андрей Александрович (1810--1899) - издатель и журналист. С 1839 г. издавал журнал "Отечественные записки", в 1852--1862 гг. - газету "С.-Петербургские ведомости".

⁸ *Панаев Иван Иванович* (1812--1862) - писатель и журналист. Вместе с Панаевым Некрасов купил у П. А. Плетнева "Современник" в 1846 г.

⁹ *Плетнев Петр Александрович*. См. о нем с. 494.

¹⁰ ... *в невозможной темной и холодной квартире...*-- "По приезде в Рим мы заняли на вид весьма порядочную квартиру на Via Carrozza, но через несколько дней пришли к убеждению, что оставаться тут долее невозможно. Рамы в окнах, как мы вынуждены были заметить, представляли широкие отверстия, в которые значительный ноябрьский холод проникал беспрепятственно..." (*Фет А. А. Мои воспоминания*, ч. I, с. 172).

¹¹ *Риги* - горный массив в Гларнских Альпах, на границе швейцарских кантонов Швиц и Люцерн.

¹² ... *как выразился в одном из своих стихотворений...*-- Ковалевский имеет в виду строки: "Что не знаю сам, что буду // Петь,-- но только песня зреет".

¹³ *Пальм Александр Иванович* (1829--1885) - писатель, член кружка Петрашевского.

¹⁴ ... *с повестью Достоевского "Село Степанчиково"* -- Достоевский в сентябре 1859 г. передал повесть в "Современник". Некрасов формально не отказал Достоевскому, но, не желая печатать повесть "Село Степанчиково", предложил ее автору очень незначительный гонорар.

¹⁵ ...*"Свисток" "Современника"*... - "Свисток", сатирический отдел "Современника", основанный Добролюбовым. В 1859--1863 гг. вышло 9 выпусков "Свистка".

¹⁶ ... *Новый поэт...* - Панаев подписывал фельетоны, которые он печатал в "Современнике", именем "Нового поэта".

¹⁷ *Из обедов <...> мне остался памятнее других тот...* - Речь идет об одном из обедов 1859 г., поскольку именно в это время были опубликованы упоминаемые ниже романы "Дворянское гнездо" Тургенева и "Обломов" Гончарова.

¹⁸ *Павлов Николай Филиппович* (1803--1864) - писатель. В 1850-х гг. выступал как критик и публицист, близкий к демократическому лагерю русской литературы. Муж К. Павловой.

¹⁹ *Буше-де-дам* - "дамские пальчики", сорт винограда.

²⁰ ... *свою прелестную первую жену...*-- Речь идет об Елене Васильевне Устюжской (умерла в 1860 г.), дочери псаломщика православной церкви в Париже, на которой Полонский женился в 1858 г.

²¹ ... *со своим знаменитым испанским собратом.*-- То есть Санчо Панса, оруженосцем Дон Кихота.

²² *Анненков был лет на десять старше Тургенева.*-- Анненков был старше Тургенева на пять или шесть лет.

²³ ... *наивные выходки Фета, которые в другое время удостоивались даже перехода целиком на страницы произведений И<вана> С<ергеевича>...*-- Речь идет о романе "Дым". "Работая над речами Потугина, Тургенев пользовался также сведениями, почерпнутыми им из русских журналов и из писем его корреспондентов. Например, ожесточенные нападки Потугина на "русских самородков", которые не в состоянии изобрести даже зерносушилку <...>, восходят к материалу записок Л. А. Фета, напечатанных в мартовской книжке "Русского вестника" за 1863 г...." {*Тургенев. ПСС. Сочинения*, т. IX, с. 528) (указано А. И. Батюто).

²⁴ ... на статью о "Накануне" Добролюбова... - Статья была опубликована в "Современнике" (1860, No 3) под названием "Новая повесть г. Тургенева", без подписи. В этой статье Добролюбов дал роману Тургенева революционную трактовку, прояснив до конца объективное значение явления русской жизни, изображенных писателем.

²⁵ Перов Василий Григорьевич (1833/1834--1882) - живописец, один из организаторов Товарищества передвижников. Портрет Тургенева, написанный Перовым, находится в Гос. Русском музее.

²⁶ Маковский Константин Егорович (1839--1915) - живописец, член Артели художников, передвижник. Местонахождение портрета неизвестно.

²⁷ ... Репин... - Портрет Тургенева, написанный Репиным, находится в Гос. Третьяковской галерее.

²⁸ Харламов Алексей Алексеевич (1842--1922) - портретист и живописец, пользовавшийся известностью во второй половине XIX в. Жил и работал в Париже. Портрет Тургенева, написанный Харламовым, находится в Гос. Русском музее.

²⁹ Решетников Федор Михайлович (1841--1871) - писатель-демократ.

³⁰ ... маленький ~ печатно называл Фуксенком...-- Фукс Виктор Яковлевич (1829--1891) - цензор, член Главного управления по делам печати в 1865--1877 гг. Фуксенок - сатирический персонаж из рассказа Салтыкова-Щедрина "На заре ты ее не буди" из книги "Помпадурсы и помпадурши".

³¹ ... в какие-нибудь не имевшие значения статейки ~ свои собственные стихи по случаю поднесения Каткову чернильницы с тем, чтобы тот "мокал в разум". - Речь идет о стихотворении "Чернильница" ("Предмет, любопытный для взора..."). См.: ПСС₂, т. 2, с. 205. Стихотворение было опубликовано в "Современнике". (1865, No 11--12, с. 185--186), анонимно, в составе статьи П. М. Ковалевского "Письма в глушь". В 1865 г. реакционное московское дворянство преподнесло М. Н. Каткову серебряную чернильницу. На золотом пере была сделана надпись: "Макающему в разум". Этот факт был высмеян в статье Ковалевского и стихотворении Некрасова. Катков Михаил Никифорович (1818-- 1887) - журналист и публицист. С 1856 г. до 1887 г. редактировал и издавал журнал "Русский вестник". В начале 1860-х гг. резко сменил политическую ориентацию, перейдя от либеральных устремлений молодых лет к крайне реакционной позиции.

Некрасову было приписано стихотворение Ковалевского "Пучинный шум" ("Идет-гудет пучинный шум..."), опубликованный в "Современнике" (1863, No 4, "Свисток", No 9, с. 75--76) в составе статьи "Голос из акционерной пучины", подписанной: "Смарагд Бриллиантов". Ему же приписано стихотворение Ковалевского "Общее собрание" ("Я в общее собрание..."), опубликованное в "Современнике" (1863, No 4, "Свисток", No 9, с. 77--78) в составе статьи "Голос из акционерной пучины", подписанной: "Фердинанд Тюльпанензон". Ковалевский ошибается, называя Ефремова. Редактором посмертного собрания сочинений Некрасова был С. И. Пономарев.

³² Муравьев Михаил Николаевич (1796--1866) - государственный деятель. В 1857--1861 гг. был министром государственных имуществ. В 1863--1865 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края. В 1863 г. возглавил подавление Польского восстания, отличившись при этом особой жестокостью. За это был прозван "вешателем".

^{32a} Турунов Михаил Николаевич (1813--1890) - член совета министерства внутренних дел, председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета.

³³ Аттила (умер в 453 г.) - предводитель гуннов с 434 г. Возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю (443, 447--448 гг.), Галлию (451 г.), Северную Италию (452 г.).

³⁴ ... *произносит стихи...*-- Текст этого стихотворения, уничтоженного Некрасовым, неизвестен. См. об этом подробнее: *Бухштаб Б. Я.* Литературоведческие исследования. М., 1982, с. 51--59.

³⁵ ... *кроме двух, не оставлявших его ни на минуту женщин...*-- Анна Алексеевна Буткевич (1823 или 1825--1882) - сестра и друг Некрасова. Зинаида Николаевна (настоящее имя: Фекла Анисимовна Викторова; 1851--1915) - жена поэта. Умерла в Саратове.